

А. В. Карташев

Лик Пушкина

Творится всякий раз что-то необычайное, как только русские соприкасаются с Пушкиным. Пушкинские юбилеи приводят в движение весь русский мир. А сейчас это начало передаваться и всему чужестранному миру. Обычное юбилейное торжество вдруг переходит в какую-то духовную раскачку, переливающуюся через края всякой официальности. Умы пробуждаются, сердца окрыляются. Говорятся слова чрезвычайные. Случается что-то само по себе достопамятное, что прирастает к памяти Пушкина и ее все более и более увеличивает. Например, речь Достоевского. Души бодреют, молодеют, вдохновляются новыми надеждами, чувствуют откровение какого-то радостного смысла жизни. Все, не сговариваясь, на разные лады повторяют, очарованные: «чудо! чудо!», «тайна!»

Да, не подлежит никакому сомнению, Пушкин для русского сердца есть чудесная тайна, теперь уже приоткрытая и угаданная. Может быть, откроется со временем и всему миру. И дело тут не в литературе только. Литературу только — мир умеет ценить довольно точно. А Пушкина иностранцы схватить не могут, и лишь очень немногие из них способны почувствовать в нем что-то необычное.

Конечно, Пушкин величайший поэт, мастер универсальнейшего из искусств — искусства слова. Владели этим искусством в древности прямо признавались вещателями Божьей воли, а в новейшие безверные времена заняли место как бы светского евангелия.

Конечно, Пушкин чародей родного языка, закончивший его чеканку, как языка совершенного, мирового. Говорить по-русски — теперь значит говорить на пушкинском языке.

Конечно, Пушкин отец, глава и классический образец всей новейшей живой, читаемой, а не ископаемой, русской литературы. Уже личные друзья Пушкина увидели в нем «солнце русской литературы».

Вещий Гоголь, с его склонностью к гиперболе, потрясавшийся гением Пушкина, считавший себя как бы порождением его в своих творческих замыслах, сказал нам нечто большее. Он еще при жизни Пушкина разгадал тайну его личности. Уже в 1832 г. Гоголь провозгласил: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он может быть явится через 200 лет»¹. Этим своим пророческим выкриком Гоголь сдвинул обсуждение Пушкина с

рельс только литературы и приковал русское внимание к самому лицу Пушкина, почуяв в нем что-то сверхличное, назвав его «явлением», событием во всей истории русского народа, чреватым в далеком будущем великими последствиями. Гоголь даже не удержался выговорить вслух свое ощущение, что явление-то Пушкина, при всей его феноменальности, едва ли и не единственное! И в самом деле, кроме неповторимости вообще всего прошедшего, если это был золотой век нашей литературы, то он символически и единственный раз навсегда. Гоголь этим актом провозглашения Пушкина не писателем только, а русским «явлением» снял его портрет со стен галереи литературы и поместил в Пантеон великих людей России вообще. И еще более: Гоголь в некоем священном безумии дерзнул как бы канонизовать Пушкина еще при жизни. Так теургически страшно бывает превращение чтимого лица, о котором накануне еще поют панихиду, а назавтра ему уже служат молебны.

Пушкин, действительно, вырос в русском сознании в несравнимую величественную гору, сам стал русским Олимпом. В Пушкине открылся величественный лик самой России. «Пушкин наше все»...— рассуждает в 1859 г. Аполлон Григорьев — «Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности»². В 1880 г. Достоевский подхватывает определение Гоголя о Пушкине, как явлении чрезвычайном и заостряет его еще тончайшим эпитетом: «и — пророческое!»³ «Пророческое», очевидно, в смысле указания на судьбы России и русского народа и через самое лицо Пушкина, а не только через его творчество. Вернее — через все это вместе, но с ударением на лице.

Сам Пушкин велик, а потому велико и его слово. Вот в чем — «тайна и чудо». У великих людей важно не только то, «что» они говорят, но и «как». Они говорят «со властью», а не как прочие «книжники». Их огромная душа рождает слова потрясающие, грому подобные, чарующие, покоряющие, «несказанные» для людей обыкновенных. Величие великих людей дает себя знать в их слове воочию и, так сказать, наощупь. Стоит, например, перелистать письма и резолюции Петра Великого, чтобы испытать почти физическое давление его ума и характера. Нечто подобное излучается из строк Митроп. Филарета. Под словами великих буквально шевелится и передает вам свой шок их могучая душа:

Душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит.

«Самый умный человек в России»,— сказал о Пушкине Николай Павлович, не без страха перед его умом взявший его под свою цензуру. И вот, когда этот умнейший и сверходаренный сын России отразил в своем волхвующем слове русскую жизнь — природу, историю, душу, и жизнь всемирную, произошло нечто сверхлитературное, свершилось некое событие, неложное достижение в истории русской культуры. Она взошла на некую общечеловеческую высоту, достигла классического равноправия, стала всемирной. Россия увидела свое прекрасное, идеальное величие в зеркале Пушкина. И признала, что сверхчеловеческое слово Пушкина есть ее слово о себе самой. Русское великодержавное и мировое культурное самосознание и призвание скристаллизовались. Начиная от Пушкина, мы не иначе можем мыслить себя, как только великой мировой нацией. Потому и сказал про Пушкина Тютчев:

Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!⁴

Разве можно России забыть самое себя?! Пушкин таинственно стал alter ego России,— ее другим «я». Россия стала неотделима от Пушкина, а он от нее. Лицо и сердце России стали «пушкинскими», ибо тайна «явления» Пушкина и заключена в том, что великий Пушкин есть личное воплощение величия души России. Велик он, ибо он рожден великим народом. И народ, возглавляемый столь великим, обязан быть его достойным.

Жалкие кретины материализма, оседлав временный «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», бессильно попытались было разорвать эту роковую для них связь, но переменили тактику и должны были преклониться пред непобедимостью Пушкина. Теперь они временно тешат себя бездарным и лживым размалевыванием его по подобию своего духовного безобразия. Безнадежный труд!

Художник—варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок незаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с годами,
Спадают ветхой чешуей
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Нельзя ни подделать Пушкина, ни обмануть сердца народного. Пушкин говорит сам за себя. И как ни «сер», по поговорке, «русский мужик, но ум-то у него не волк съел». Фальшивомонетчики народного просвещения на коммунистической мякине его не проведут. В Пушкине одурманиваемый народ найдет самого себя. Сердце сердцу весть подает. И как за зиму окоченевшая земля отходит под вешними лучами, так под пушкинским солнышком и сейчас творится исправление падавшей и заблуждавшейся души народной:

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных чистых дней.

Не в первый раз уже наша страна «рабским игом клеймена», и вновь становилась свободной.

Неволя заставит пройти через грязь,— Купаться в ней свиньи лишь могут.
Душа национальная едина у обеих разделенных частей России— зарубежной и подъяремной. Она — сообщающиеся сосуды. А мы видим, что творится с нами в эти пушкинские дни. Мы вновь ощущаем, как живую аксиому, что Россия накануне воскресения под знаком Пушкина; что она или вновь станет пушкинской Россией, или ее вовсе не будет. Коммунистическая маска уже отстает от ее родного лица, как накладная «ветхая чешуя». А «он» — прекрасный царевич— «верный жених души народной» ждет с распростертыми объятиями, что вот-вот расколдуются демонские чары и спадут с лица невесты исказившие ее человеческую красоту низшие, звериные черты.

Тут мы касаемся новой грани в сложной тайне лица Пушкина. Надо признаться, что образ жениха и невесты мы привели не для риторики, а для буквального определения именно брачной любви национальной русской души к Пушкину как к ее несравненному избраннику. И это не в какой-то собирательной отвлеченности, а в живой, частной психологии каждого из нас. Поскольку мы подлинно русские — среди нас нет не любящих Пушкина. Русскому такая любовь врождена, впитана с материнским молоком нашего «пушкинского языка». Писаревщина — одно из извращений революционного хамства. А прямое похуление Пушкина было бы иудинством, изменой отечеству, да и

просто невысказанным преступлением. Наоборот, в русской природе вещей существуют только разные степени температуры любви к Пушкину и именно к живому лицу Пушкина.

Много великих людей и писателей в земле русской, но пока явился один только Пушкинизм, а не возникло того же около имени Ломоносова, ни Суворова, ни Толстого. И это не одно только подражание Шекспирианству и Гетеанству, а стихийное увлечение, исключаящее всякую мысль о конкуренции. И если пушкинисты — «спецы» сосредоточиваются на тексте и генезисе писаний поэта (в этом деле им и книги в руки), то все мы — русские, профаны в искусстве и литературе, мы все поголовно тоже пушкинисты, так сказать, пассивные. Наша всеобщая пассия — биография Пушкина. Его лицо, его быт, его среда, его время — весь воздух, которым он дышал, влекут нас к себе с неизъяснимой безоглядностью, с какой-то врожденной нам естественностью. Именно врожденной, потому что в пушкинской биографии мы погружаемся как бы в свое собственное, личное, обидеализированное, как «утро дней», прекрасное, как потерянный рай, невозвратимое прошлое. Это грезы русской Психеи о своем единственном суженом. Если при чтении «Детства, отрочества и юности» Л. Толстого и повестей Тургенева многие из нас переживали подобное же «самовнушение», будто речь идет о нас самих, то это на той же основе сродства души писателей с душой народной, но в степени несравнимо меньшей, ибо нет того повелительного влечения именно к лицу писателя. Никакой археологический культ писательских реликвий не волнует нас так, как пушкинская реликвия. Русские сердца прямо физически ноют от приближения к ним, от одних дум о них. Это — брачная тайна, тайна единственности любви. Разве в эти дни, вновь перечитывая свидетельства участников последних страдальческих дней Пушкина, разве мы не возвышались в сострадании ему до высот «страстных» переживаний, при виде и невинного страдальца и вместе великодушно кающегося благоразумного разбойника, спасающегося «о едином часе»? Чья смерть, чья кончина из русских великих людей так же несравнимо жгуче, садняще записалась на скрижалях русского сердца, плотяных? Ничья. Это—последствие «явления чрезвычайного и, может быть, единственного». Это инстинктивное соборное избранничество национальной души своего вождя и пророка. Своего рода светская, мирская, канонизация снизу, чрез «глас народа», как творятся и всякие подлинные канонизации. Официальное признание сверху лишь запечатлевает сложившийся факт.

В календарях культуры всех народов есть такие избранные излюбленные лики, которыми любуется и утешается народная душа, своего рода светские святые. Как есть подобного рода исключительно ценимые и произведения национальной литературы. Иногда это

совпадает с лицами авторов, иногда нет. Тут нет права и закона. Тут «благодать любви». Ее нельзя изъяснить, мотивировать до конца; можно лишь отчасти и приблизительно. Это—«священные писания» народов и герои национальных «священных историй». Разве в силах кто-нибудь развенчать потрясающую трогательность истории Авраама, Иосифа, Руфи, Давида, Илии? Кто посягнет на умаление трагической смерти Сократа, чудесности Александра Македонского, священности любви Данте к Беатриче, благородства Вильгельма Телля, феноменальности Наполеона? Их не вырвать из памяти наций. Это образы из светской библии народов. Их биографии, большей частью окутанные мифами, воспринимаются национальными сердцами как «жития», умиляющие и возвышающие дух. Также «житийно» влечет нас и приковывает к себе и ослепительный образ Пушкина. Так было и так будет со всяким русским из простого народа, кто из мира Четиих-Миней св. Дмитрия Ростовского (или теперь из убогого мира марксистской иконографии) войдет в иной мир светской культуры.

А почему эти светские «священные писания» народов, эти по-светски «библейские и житийные» герои не только не сливаются (такое пожелание было бы наивным), не только не гармонируют с миром новозаветным и церковным, но, кажется, не имеют и надежды помышлять об этом? Тут трагическая тайна религии, которую не затушевать и не разъяснить никакими апологетическими комментариями. Как выражался В. В. Розанов, пред «моноцветком Иисусом»⁵ все полевые лилии светской культуры суть тлен, прах и суета...

Но мы-то земнородные и не по своей, а по Божьей воле творящие земную историю—мы-то не перестанем — ибо не имеем никакого нравственного права перестать — нести эти ценности светской культуры под знамя Христа и Церкви в твердом уповании, что Господь спасет и преобразит их, как и нас грешных, «ими же весть Он судьбами». Когда и как? Тайна закрыта до времени, но должна открыться. «Толщите и отверзется»... И когда-то вся психея России и земной жених ее — многогрешный раб Божий Александр и все мы, «верные чада ее», войдем в чертог брачный Жениха Вечного, Несравненного...

А пока в земном нашем «странствии», мы идем под знаком земного избранника русского сердца, нашего подлинного вождя и пророка.

Тайна Пушкина—сверхлитературная, тайна русская — пророческая.

А. В. Карташев. Лик Пушкина. 1938.

Впервые: Лик Пушкина. Речи, читанные на торжественном заседании Богословского Института в Париже. Печоры, изд. “Путь Жизни”, 1938.

Печатается по изданию: Пушкин в русской философской критике. Конец XIX - первая половина XX в. М., Книга, 1990. С. 302-308.

Карташев Антон Владимирович (11.07.1875 с. Киштыма Екатеринбургской губ. – 10. 09. 1960 Ментон, Франция), историк, богослов, церковный и общественный деятель. Окончил Костромскую духовную семинарию и СПб. Духовную Академию (1899), преподавал в Духовной Академии и на Высших женских (Бестужевских) курсах. Участник (1903), председатель (1909 – 1917) Религиозно-философского общества, обер-прокурор Синода (1917), министр исповеданий Временного правительства, член Всероссийского поместного собора (1917 – 1918), эмигрировал через Финляндию во Францию. Один из основателей Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Профессор по кафедре Священного Писания Ветхого завета (1924-1947) и всеобщей истории Церкви и истории Русской Церкви (1925-1960). А. Карташев не раз обращался к русской классической литературе в контексте богословия, истории и духовной культуры России и Европы. Влияние Церкви на русскую культуру (1928), Св. Великий Князь Владимир — отец русской культуры. (1938) и др. Библиография.: Преподобный Сергей в Париже. История парижского Свято-Сергиевского института. СПб., 2010. С.335-337.

¹ Гоголь Н.В. Несколько слов о Пушкине//Арабески (1835)

² Цитируется известное высказывание А. Григорьева. Григорьев А.А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья первая Пушкин – Грибоедов – Гоголь – Лермонтов. (1859)

³ Достоевский Ф.М. Речь о Пушкине. (1880)

⁴ Тютчев Ф. И. 29-ое января 1837.

⁵ Цит. Розанов В.В. О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира. (1908).